

В палатке он сел на перину, Марко устроился напротив.

— Много лун прошло с тех пор, как я вожу людей по белому свету, — медленно начал старик. — Ноги мои устали ходить, голова устала думать... — Он выколотил пепел из короткой трубки. — Я знаю, что ты задумал, но смотри!.. — Старик угрожающе погрозил рукояткой кнута. — При мне еще ни один не уходил из табора. И ты не уйдешь. Твой отец...

Старик зловеще замолчал.

Марко был круглым сиротой. Совсем недавно он узнал, что когда-то его отец погиб от руки баро. Никто не мог сказать, как это случилось: молодые цыгане не знали правды, а старики крепко хранили тайну табора.

Взглянув с ненавистью на старого вожака, Марко вскочил с перины.

— Отпусти от греха, — глухо произнес он.

— Цыц! — грозно оборвал старик. — Мое слово — закон.

Не помнил Марко, как выбежал из палатки, как пробежал мимо костров, провожаемый сочувственными взглядами цыган.

Долго блуждал он по лесу без тропинок, исцарапал в кровь лицо и руки о колючий кустарник, падал в овражки, натывался, точно слепой, на пни и деревья.

Нет, не мог он больше оставаться в таборе. Нестерпимо надоели ему бесконечные переходы, голод, плач ребятешек, ругань женщин, косые, угрюмые взгляды цыган. Но больше всего Марко боялся, что не стерпит его душа. Он отомстит за отца, прольет кровь...

«Нет, лучше уйти из табора!» — твердо решил он.

В сумерки на поляну пришли фабричные гости, и Марко поделился своим горем с друзьями.

— Приходи к нам, — успокаивал его рыжеволосый высокий Никифор, прозванный товарищами Молчуном. — Уходи из табора, будешь работать. Кстати, Аннушка велела тебе привет передать. Не забыл ее?

— Аннушка! — Марко встрепенулся, вспоминая тихую светловолосую ткачиху, с которой в прошлом году его познакомил Никифор.

С того дня Марко повеселел, а старый вожак насто-
рожился.

И вот однажды, поздним вечером, когда затухали ко-
стры и гости начали расходиться, Емельян увидел, как
Марко, крадучись, пошел вслед за двумя девушками.

Уже давно крепко спал табор и от угасающих костров
покачивались лесные тени, а старый вожак все не ложил-
ся. Он то бродил около тихих палаток, то выходил на до-
рогу, вслушивался в каждый ночной шорох.

Марко вернулся на рассвете. Старик сидел у костра.
Слабые отблески света падали на его неподвижное лицо,
и оно казалось страшным.

— Баро! — тихо позвал Марко.

Старик не шелохнулся. Лишь недобрый блеск глаз
выдавал его гнев.

— Не могу! Отпусти из табора. Добром прошу, —
едва слышно, но твердо произнес Марко.

Дед пошевелился, поднял витой кнут, поиграл руко-
яткой.

— Все равно уйду! — Марко тряхнул упрямо кудрями.

Лохматые брови старика взметнулись вверх. Взбешен-
ный взгляд словно обжег молодого цыгана. С неожидан-
ной быстротой старый баро вскочил на ноги.

— Мое слово — закон. А кто противится... — Не дого-
ворив, он рванул из уха Марко большую, вырезанную по-
лумесяцем серьгу.

Тревожно заржал жеребенок. Послышались испуган-
ные сонные голоса. Суров закон табора. Он одинаков
для всех: мужчин, женщин и даже для подростков. Марко
знал это. Он знал, что баро не пощадит его, и, рванув-
шись в сторону, мгновенно скрылся за первыми соснами.

Густой лес укрыл молодого цыгана.

В это же утро старый вожак увел свой табор из села.

Через месяц похудевший Марко стоял в холодной, пу-
стой церкви. Хозяин фабрики, прежде чем принять Марко
на работу, приказал его окрестить.

Как сквозь сон, доносились до ушей Марко слова свя-
щенника. От слабости и сладковатого ладана кружилась
голова. На миг в памяти промелькнули испуганные взгля-
ды цыган, белые палатки, лесная поляна. Какая-то ни-
точка оборвалась в душе Марко. Он понял, что наступил
конец вольной жизни. Захотелось закричать, вырваться
на воздух.

Но узкий гайтан уже охватил шею, и медный крестик ожег грудь холодком.

Цыгана Марко больше не существовало — был фабричный рабочий Мартын Емельянов.

Год спустя в той же самой церкви Мартын обвенчался с ткачихой — светловолосой Анной.

...Отец замолк. Я тоже молчала и не отрываясь смотрела на отцовское ухо. На нем был замечен неровный красноватый рубец.

МОЕ РОЖДЕНИЕ

Случилось это в один из августовских душных дней. В полутемной низкой ткацкой нечем было дышать. Скупой солнечный свет, проникая сквозь запыленные стекла окон, освещал согнутых у станков работниц. С первого взгляда было трудно отличить молодых от старых. Лица всех были одинаково желты, озабоченны и утомлены. От неумолкаемого шума станков звенело в ушах, от обильной хлопковой пыли пересыхало во рту.

К концу смены, которая длилась долгих десять часов, ткачихи с трудом разгибали ноющую спину, вытирали слезящиеся от усталости глаза.

До гудка оставалось немного времени, когда в дальнем углу, у крайнего стана, раздался жалобный женский крик. Через мгновение его сменил другой, звонкий, требовательный. Он рос, ширился, заглушая привычный шум станков и стук погонялок. Работницы обеспокоенно поднимали голову: так смело и громко мог плакать только маленький ребенок. Высокая, в вязаной кофте старая ткачиха решительно потянула на себя рукоятку станка и первой поспешила на зов.

Через несколько минут все станки были выключены. В ткацкой наступила тишина.

Бабушка Бойчиха уж суетилась около молодой работницы, лежащей на каменном полу. Подложив под ее голову снятую с себя вязаную кофточку, старуха ласково уговаривала:

— Ничего, милая... Сейчас мы твою голосистую приоденем, отца кликнем. Сбегайте-ка за Мартыном в шлихтовалку, — приказала она сгрудившимся ткачихам. — Да бегите же скорее кто-нибудь!

Но Мартын бежал сам. Огромный, черный, с дикими от ужаса глазами, он, тяжело дыша, остановился около женщин.

— Испугался? — засмеялась одна из ткачих. — Бабы, да пропустите же его!

Женщины расступились. Бабушка Бойчиха поднялась с полу. Она держала в руках завернутого в фартук ребенка.

— С дочкой тебя, Мартын, с ткачихой, — поздравила она.

Мартын вздрогнул, отступил.

— С ткачихой... — едва слышно прошептал он.

— Да бери же свое богатство! — повторила старуха. — Чего перепугался?

Мартын неуклюже топтался, вытирал со лба капельки пота, потом осторожно, боясь раздавить, взял ребенка перемазанными в клейстере ладонями.

Высокий, широкоплечий, он сейчас выглядел смешным и беспомощным.

— Ткачиха...

В голосе Мартына не было радости.

Короткое слово «ткачиха» заставило его ниже опустить голову и тяжело вздохнуть.

...Так я родилась.

МОЯ МАТЬ

Мать моя была набожна и суеверна. Высокая, еще не старая, но высохшая и молчаливая, одетая во все черное, она походила на монашку. Лишь белый головной платок да бесчисленные хлопковые ниточки, приставшие к одежде, выдавали в ней ткачиху. Оставшись круглой сиротой, она с восьми лет работала на фабрике. Мне рассказывали, что девушкой она хорошо пела, но я редко видела ее поющей или смеющейся. Иногда в светлые дни на ее тонких губах появлялась улыбка, но, словно чего-то испугавшись, быстро пряталась.

Мать умела подписывать свое имя и читать по складам. Единственная ее книга — потрепанный до невозможности псалтырь. Его она знала наизусть. Мать была скупа не только на слова, но и на ласку. Наказывала она меня редко, но больно, словно вымещала на мне все свои неприятности. Нередко, сильно обиженная, я пыталась

найти защиту у отца и всегда терпела неудачу. Отец не заступался за меня, а добавлял еще подзатыльников.

— Не смей на мать жаловаться! — говорил он, хмуря брови.

На другой день отец приносил мне сахарного петуха или цветную картонную шпульку.

— На вот, играй, на мать не обижайся. Она и так обижена.

Отец прижимал мою голову к себе и, как бы стыдась чего-то, робко гладил широкой ладонью по моим спутанным черным кудрям.

Обиду матери я знала.

Прошло уже много времени с тех пор, как мать вышла замуж за цыгана, а ей все еще не могли простить этот грех. На фабрике за вспышки и промахи отца ей нередко приходилось выслушивать от мастеров нарекания, насмешки.

Часто мать стояла на коленях в углу перед иконами и долго, долго молилась. Если по ее щекам текли слезы, я знала, что ее опять обидели. Опять кто-нибудь попрекнул ее отцом.

Едва сходил с полей снег и подсыхали дороги, мать с тревогой начинала посматривать в окно, мимо которого гроыхали цыганские повозки. В эти дни меня запирали на замок и не разрешали выходить на улицу. Мать молчала и вздрагивала от каждого шороха и стука. Отец притихал, ходил, виновато опустив голову, и старался говорить шепотом. Потом, когда выяснялось, что табор чужой, меня выпускали к ребятам. Мать смотрела на повеселевшего отца уже не так сурово и спокойнее спала по ночам. Страх, что меня украдут сородичи отца, каждый год неотступно преследовал мать, а мне отравлял весенние дни, такие звенящие и светлые.

МОТЫЛИХА

Если бы не фабричные здания с высокими трубами и длинные кирпичные казармы, похожие на огромные красные коробки, Глухаревку можно было бы принять за деревню. Едва кончалась главная улица с лавками, домами и небольшой церквушкой, как шоссе обрывалось, уха-

бистая проселочная дорога сменяла булыжник. Начинались пашни, глухой лес, болота.

Жили мы на самой окраине Глухаревки — у леса в местечке со странным названием — Мотылиха, в Кирилловском бараке. В нем было двадцать каморок. Маленькие, низкие, с обязательными полатами в каждой, они больше напоминали курятники, чем комнаты. Не проходило воскресного дня, чтобы где-нибудь не слышались пьяные голоса, ругань, плач. Не успевало затихнуть в одной из комнат, как в другой начиналась драка, и мы со всех ног бросались смотреть интересное зрелище.

Плач и ругань обыкновенно затихали при появлении кособокого, одноглазого смотрителя Зота Федоровича. Едва его шуплая фигура появлялась в конце длинного коридора, мы испуганно, точно мыши, разбегались по своим каморкам. Женщины вытирали слезы и вступались за внезапно притихших мужей. Кривой смотритель с хитрым и узким, словно лисья морда, лицом был страшнее тяжелых кулаков разбушевавшихся мужей. В поздние вечера матери пугали им ребятишек, а у взрослых при одном упоминании имени смотрителя мрачнели лица. Если Зот Федорович заставлял в бараке непорядок, то это грозило большой неприятностью. За крупную драку он переселял рабочих в четырехэтажную Николаевскую казарму, где в каждой комнате жило по несколько семей. Чтобы не потерять хоть и тесную, но отдельную каморку, смотрителю давали взятки. Но и в тихие дни Зот Федорович, переходя из одной комнаты в другую, искал, к чему бы придраться. Еще с порога он ощупывал жадным взглядом каждую вещь.

Мать обычно начинала торопливо рыться в комоде и, вынув только что сплетенный моток кружев или носки, молча совала смотрителю.

— Сколько ночей сидела, спину гнула, а ради чего, спрашивается! — сердито говорил отец после его ухода. — Приучила пса к подачкам!

Мать боязливо махала рукой:

— Молчи! Может, больше не придет.

— Дождись! Надолго ли собаке блин — раз глотнуть!

Нахлобучив на растрепанные кудри старый, выгоревший картуз, отец уходил из дому. Возвращался он не скоро, с возбужденным, красным лицом.

— Не вытерпел, не прошел мимо окаянной! — роняла мать, бросая на него укоризненный взгляд.

— Перестань! Душа горит! — Отец вздыхал, бурчал что-то неразборчивое и укладывался спать.

Но случалось и по-иному. Какая-нибудь соседка, заглянув в каморку, предупреждала мать:

— Выйди, Анна, твой Аника-воин идет. Видно, опять в казенку заглянул по пути. Как бы по ошибке кого не зашиб.

— Господи, опять, поди, что на фабрике случилось! — сокрушалась мать, выбегая на крыльцо. — И чего они его трогают? Что он им сделал плохого?

Улица казалась отцу тесной.

— Рас-с-ступись! Дай дорогу! — кричал он, раскинув руки в стороны. — Не мешай человеку шагать!

Отец останавливался, пытался расправить плечи, сжимал кулаки, выискивая взглядом противника. Хорошие глаза его наливались кровью, брови грозно сходились над переносьем. В такие минуты к нему не решались подойти. Только мать, худенькая, слабая, безбоязненно заговаривала ему дорогу.

— Ну, хватит, хватит, — ласково уговаривала она. — Не смей людей-то. Ну, что распетушился?

Каждый раз меня охватывал страх за мать. Но обычно отец, замерев на миг, вслушивался в тихий материнский голос, а потом, наклонив голову, послушно шел за ней. Плечи отца опускались, разжимались кулаки, на губах появлялась виноватая и какая-то горькая улыбка. Я никогда не видела, чтобы он тронул мать.

Через несколько минут мать поила отца густым чаем или огуречным рассолом, а он, присмиревший, тихий, начинал жаловаться:

— Опять на две гривны оштрафовали. Как жить-то, мать, будем?

— Как-нибудь проживем, — хмурясь, успокаивала мать. — Кто наложил-то? Управитель?

— Мастер. Адамыч, очкастый филин. Так и шныряет, вынюхивает. Запел я тихонько, а он подбежал, да и напустился: «Работай, говорит, молча. Не положено на работе петь».

— А ты не пой. Молчи, — вздыхала мать.

— Как это «молчи»? Если я не могу без песен! Когда поешь, на душе легче становится, дело спорится быстрее.

Они рады совсем нас отучить говорить. Нет, не унять им меня! Захочу — и петь буду.

— Ну, пой, пой, — соглашалась мать.

И отец, присев на стул, начинал тихонько петь свою любимую песню:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала...

Мать не останавливала его.

ВЕСНОЙ

К девяти годам я вытянулась в неуклюжую, тонкую, как жердинка, девочку. Узкое смуглое лицо, беспокойные, как у отца, черные глаза, взъерошенные кудри делали меня похожей на птицу, пугливую и любопытную.

На рассвете, едва открыв глаза, я начинаю прислушиваться. Из коридора доносится голос матери. Она просит у соседки сито. С утренней свежестью в открытое окно доносится душистый лесной запах. Каморка залита солнцем. Оно везде: на полу, на стенах, на комод. Моментально накидываю платье, слезаю с полатей и подбегаю к окошку. Если не удрать сейчас, весь день придется сидеть дома: мать не пустит. Она сегодня работает в вечерней смене. Придвинув табурет, я взбираюсь на подоконник и прыгаю вниз, в прохладную траву. Ушибленный о наличник локоть горит, рукав разорван, но это меня не беспокоит. Я мчусь со всех ног к лесу. Ветер треплет подол ситцевого платья, босые ноги холодит роса. Я не замечаю ни острых камней, ни луж, ни канав. Лишь бы скорее добежать до леса! У первой сосны я останавливаюсь. Теперь уж никто меня не вернет, и можно бродить по лесу сколько угодно. О предстоящей порке я не думаю.

Узкая лесная дорожка изрезана тропинками. Одна из них ведет к любимой полянке.

Над головой слышится осторожный шорох, и к моим ногам падает еловая шишка. В воздухе мелькает веером рыжий хвост — и белка уже на соседнем дереве. Где-то рядом, словно деревянным молоточком, постукивает дятел. Лапчатые ветви елок обвешаны красноватыми смолистыми шишками, похожими на зажженные свечи.

А вот и заветная поляна. Здесь, как и в прошлую весну, все цветет, живет и радуется глаз. На солнечном пригорке, вся в белом, замерла черемуха. На неподвижных

ветках искрятся и переливаются еще не просохшие розоватые капельки росы. Пахнет фиалками. Робкие, они прячутся в траве, в кустах, под валежником. Их можно отыскать только по нежному, чуть слышному аромату.

Присаживаюсь на кряжистый широкий пенёк, кое-где покрытый голубоватым мхом. Некоторое время сижу молча, потом начинаю напевать:

А завтра с ранними лучами
Они уйдут толпою вдаль,
И песнь лихая за шатрами
Тогда в нас вызовет печаль.

Эту песню мурлычет отец, когда матери нет дома. И я люблю ее. Вообще я люблю петь. Мать даже мечтает устроить меня в церковный хор и заставляет петь молитвы. Но когда поешь в каморке, кажется — песне тесно, а здесь, на поляне, слова летят, точно птицы, легкие, быстрые, вольные.

Потом, устав от песен, я взбираюсь на старую, сучковатую березу. За порванное платье и исцарапанные ноги мне часто попадает от матери. Каждый раз после наказания я обещаю вести себя как следует, но стоит попасть в лес, как обещания вылетают из головы.

С высокого дерева далеко-далеко видно вокруг. Вправо я не смотрю — там лес плотной стеной отгораживает нашу Мотылиху. Слева, где по утрам разгорается алая полоска и из нее, точно умытое, появляется солнце, — ширь, простор. Отец говорит, есть такие места, где совсем не бывает зимы. Осенью туда торопятся птицы. Там круглый год цветут цветы и много-много солнца, а вместо нашей узкой Клязьмы — огромные, без берегов, реки. Вода в них соленая и по ночам светится огоньками. « Попрошу папку, чтобы мы туда поехали, когда табор его прикочет к нам ». От этой мысли я вздрагиваю, но тут же вспоминаю мать. Разве она бросит свою работу ?

Чем дальше всматриваюсь в таинственный далекий простор, тем сильнее хочется проникнуть в него...

Домой возвращаюсь под вечер, голодная, усталая. В руках охапка душистых веток черемухи и поникших фиалок. Мать любит цветы. Угасающие лучи золотят стекла неприкрытого окна. Край белой занавески колышется, приподнимается. Это мать ждет меня.

ПЕРВЫЙ УРОК ЖИЗНИ

Еще живя в таборе, отец неведомо как научился грамоте. Читает он помногу, все, что попадет под руку. Он и меня мечтает определить в школу. Каждый раз, придя с работы и наскоро пообедав, отец отодвигает мамин псалтырь далеко в сторону (он почему-то его недолюбливает) и раскрывает передо мной букварь. Иногда наше ученье прерывается, и тогда я, очарованная, слушаю рассказы отца о вольной цыганской жизни.

Как-то раз он прочел мне сказку «Кот в сапогах». С тех пор я часто вижу героев этой сказки во сне. И странно: вместо умного, хитрого, ловкого кота мне всегда снится отец. Огромный и сильный, с веселым блеском черных глаз, в неизменной порыжевшей на плечах сатиновой рубашке, он стоит на крутом пригорке за казармой и зовет меня. На отцовских ногах вместо неуклюжих валенок — чудесные, с широкими сверкающими голенищами сапоги.

«Иди ко мне, Ленка, — говорит отец. — Я поведу тебя далеко-далеко — к солнцу».

Сердитый ветер срывает с его головы фуражку, путает кудри, дует мне в лицо. Отец берет меня за руку, и мы идем. Перед нами вырастают горы, текут реки, встают непроходимые чащи. Какие-то безобразные чудовища, черные и скользкие, стараются схватить нас длинными лапами. Но мне не страшно: рядом отец в своих волшебных сапогах.

Я даже придумала игру, за которую мне здорово досталось от матери. Однажды утром она взяла меня с собой на базар. Выйдя за ворота, я взглянула на нескончаемое поле зеленеющей ржи, подступившей к самым окнам, и спросила, как маркиз из сказки:

— Чье это поле?

— Хозяина, — машинально отозвалась мать.

Мне стало смешно. Мать не догадывалась, что я хочу с ней поиграть. Она была озабочена и, как всегда, молчалива. Мне захотелось ее развеселить; и я, указав на лес, опять спросила голосом маркиза:

— А это чей лес?

— Тоже его.

— А чьи эти большие дома?